

“ТЫ УЖЕ ЗА ХОЛМОМ!”

Читаю стихи Анны и удивляюсь, как она умудряется разглядеть в малом – великое, в подробностях жизни – целое, в обрывках чувств – неразрывную ткань мироздания.

Хочу сказать ей, что жизнь, тем более разбитую вдребезги, рифмами не склеишь и, подобно живой воде, ими не окропишь, но понимаю, что она мне не поверит, потому что рождена для того, чтобы ронять “животворящие слёзы”... Слыша, как она бормочет свою рифмованную прозу, вспоминаю блоковское: “бормотаний твоих жемчуга”. Её поэма о шахтёрской дочери – это современный плач Ярославны из “Слова о полку Игореве”, по законам героической поэмы переходящий в гимн сопротивления злу. Этот победный клич тем более естественен, что он разносится над просторами Дикого поля, где на берегах Северского Донца разыгралась много веков назад русская трагедия и где она продолжается сегодня, потому что Ярославна с плачем обращалась к своему князю не на какой-то мове, а на древнерусском языке, что пытался оспорить в шестидесятых годах прошлого века казахский поэт Олжас Сулейменов в книге “Аз и я”, попытавшийся доказать, что автор “Слова о полку” был из племени половцев. Впрочем, овладеть этим куском русского мира пытались многие: турки и шведы, поляки и татары, и даже немцы. Я тогда ответил Олжасу Сулейменову восьмистишием:

Разглядывая каждую строку,
Учёный тюрок вывел без сомнений
Такую мысль, что “Слово о полку”
Пропел в пространство половецкий гений.
Под шум берёз, под шелест ковыля
Судьба племён так прихотливо вьётся,
Но вспомнишь вдруг: “О, русская земля!
Ты за холмом... “ —
И сердце оборвётся...

Читаю поэму “Шахтёрская дочь” и снова чувствую, что и “златоглавый Кив”, и прифронтовой Донецк, и “дикое поле” со свежими могилами с незапамятных времён и до сего дня остаются израненными, расколотыми, распятыми частями великого русского мира, которому нужна “живая вода”... И вновь смотрит Ярославна (она же Анна) на холмы, за которыми простирается русская земля, как и во времена князя Игоря истекающая кровью, и сердце её обрывается, как обрывалось оно у безымянного автора “Слова о полку”...

Станислав КУНЯЕВ

АННА РЕВЯКИНА



ШАХТЁРСКАЯ ДОЧЬ

ПОЭМА

* * *

Червоточьями да кровотоцьями
зарубцовывается война.
Над полями, что за обочинами,
полно чёрного воронья.
По дороге, что лентой стелется,
где изрублена, видит Бог,
русокосая ясна девица,
в волосах — голубой цветок.
Её руки — не толще веточек,
её стопы — балетный свод,
она будет из добрых девочек,
из наивных святых сирот.
Её платье — бедность мрачная,
её крестик — металл да нить.
Эта девочка столь прозрачная,
её вряд ли разговорить.
По дороге, где грязь окраины,
там, где воины начеку,
эта девочка неприкаянная
начинает собой строку.
Молчаливую, милосердную,
утопающую во тьме.
Эта девочка — достоверная,
как война, что в моём окне.
На ладонях — кресты да линии,
на глазах — пелена дождя...
эту девочку звать Мариною.
И она на две трети я.

* * *

У Марии был дом — занавески и витражи,
был отец, который ей говорил: “Ложись!”
Был берёзовый шкаф, и была кровать,
вот такое счастье: ковать — не перековать.
А теперь у Марии что? На окошке — скотч,
за окошком — ночь, и в окошке — ночь,
где бесшумные призраки — конвоиры снов —
не находят для этой девочки даже слов.
Всё сплошное лязганье, грохот, треск,
у Марии есть мать, у матери есть компресс,
а ещё икона, на которой позолоченный Николай
обещает Марии тихий небесный рай.

* * *

Тишина проникает в ухо,
и ты думаешь, что оглох,
вот Мария на старой кухне
сигаретный глотает смог.
Надо лечь, пока держат стены,
пока крыша ещё цела.
У Марии дрожат колени,
над Марией молчит луна
коногонкою в небе буром —
немигающий глаз отца.
Только глаз один, ни фигуры,
ни одежды, ни черт лица.
Этот глаз на реке — на реке дорожка,
на стекле — серебристый блик.
Скоро-скоро опять бомбёжка
И глазной неуёмный тик.

* * *

Кто-то скажет: “Он был неплохим отцом...”
Сочинял ежедневно завтрак и в ванной пел,
он ходил по субботам гулять со своим птенцом.
Говорил с Марией так ласково, как умел.
Его обувь была чиста даже в самый дождь,
его руки были огромны и горячи,
и Мария шагала рядом — шахтёрская дочь,
хотя в их роду остальные — все сплошь врачи.
Это было счастье — детское, на разрыв,
настоящее счастье, которому края нет.
Он всегда был первым и никогда вторым.
Они ели яблоки — золотой ранет,
они пили какао, ходили в театр и зоопарк,
он показывал ей созвездие Близнецов.
Он любил смешить её — внезапно и просто так,
а однажды из проволоки подарил кольцо.

* * *

А потом приходила война, забирала в строй
самых смелых и самых правильных из людей.
Он забыл своё имя, но запомнил свой позывной,

он видел скелеты обуглившихся церквей.
Он стал снова чёрен лицом, но душой бел,
научился молиться, словно в последний раз,
он свои ледяные руки дыханием грел
и всё ждал, когда отдадут приказ.

* * *

У Марии есть тайна —
пачка девичьих писем.
Она пишет о главном —
девочка-летописец.
Она пишет на русском,
а иногда на птичьем.
Она пишет о грустном:
“Мы все теперь стали дичью...”
Она пишет отцу на рассвете
и поздно ночью.
Она пишет, как пишут дети:
неровным почерком,
словно письма из летнего лагеря
или с морей известия.
Она пишет, как пишут маленькие,
потерявшие равновесие.
Она пишет, как пишут взрослые
из подвала под артобстрелом.
Она пишет, и свет полоскою
оставляет в письме пробелы.
Она пишет, и ей не пишется,
ей скулится, ей страшно, тошно.
Вот деревья — сплошные виселицы,
вот свеча, что горит всею ночью.

* * *

Дорогой отец,
не дари колец,
не дари цветов,
берегись полков,
воротись домой
под большой луной,
станем жить-тужить,
до чужих женитьб,
до чужой любви,
не считая дни.
Воротись, отец,
воротись, боец,
станем сказки плесть,
вот добро, вот честь,
станем пить огонь,
вот моя ладонь,
вот наш старый дом,
словно в горле ком.
Вот наш спелый сад,
вот ползучий гад,
райских яблок сок.
Этот сад — есть Бог.

Этот сад — есть мы.
Или наши сны.
Или наши сны...

* * *

Обрывается всё: провода, разговоры и струны.
Обрываются жизни, которым не видел конца,
месяц май неожиданно станет военным июнем,
в это жаркое лето прольётся так много свинца.
Загорелые травы донецких степей, терриконы,
обелиски невозвращенцам из дальних дорог.
Этот мир всё ещё подчиняется Божьим законам,
этот мир состоит из патронов и пары сапог.
Николай говорил, что победа, добытая смертью, —
это просто победа над страхом, победа побед.
Николай уходил в распростёртые древние степи,
где посеяна смерть, словно маковый цвет.

* * *

Здесь густая трава и беспечные песни сверчков,
здесь разверзшийся ад среди райского лета.
И плывут облака по чернильному небу зрачков,
и в кармане сломалась последняя сигарета.
На войне не бывает ничьих, только свой и чужой.
По чужому стрелять, своего прикрывать, что есть силы,
повторять: “Слава Богу! Живой! Слава Богу! Живой!” —
И звонить дочерям с почти севшей мобилы.
И любить сыновей, тех, что рядом — в окопе, в пыли —
делят тяготы дней, делят хлеб и говяжью тушёнку.
Эти воины — дети кротами изрытой земли,
вместо нимба Господь отдал им коногонку.
Вместо сердца Господь даровал антрацит,
вместо вдоха степного — горючесть метана.
Здесь густая трава, что так ярко, чадаяще горит,
словно вечная слава победы на груди ветерана.

* * *

Что нас ждёт впереди? Победа.
Ясный сокол мой Николай,
мы вкусим и вина, и хлеба,
на двоих мы разделим рай.
А пока ты лежишь в окопе,
пока где-то кипят котлы,
я молюсь обо всех двухсотых
с наступлением темноты.
Вижу сполохи, рвётся небо,
на дыбы горизонт встаёт.
Смерть идёт по чьему-то следу,
дай-то Бог, чтобы шла в обход.

* * *

Это был страшный август четырнадцатого года, два народа шли в лобовую. Николай с лицом чёрным, как добываемая им порода, прикрывал собою горящую передовую. На его руках умирали и воскресали, на его гла-

зах открывались ходы в преисподнюю. Город детства его, город угля и стали, превращали в пустошь, в пустыню неплодородную. Сеяли смерть, как раньше сеяли хлеб, сеяли ужас, боль и жуткое “зуб за зуб”, а зелёные пацаны, утверждавшие, что смерти нет, рыдали от страха, увидев свой первый труп. А увидев второй, начинали, кажется, привыкать, говорили: “Война — не место для бабьих слёз!” И у каждого в городе оставалась мать, в городе миллиона прекрасных роз.

* * *

Ходит дом ходуном без конца,
дочь Мария чертами в отца,
мать сидит за столом, жжёт свечу.
— Мам, поспи!
— Не хочу, не хочу!
За чертой, за порогом, в ночи,
там, где струны грызут скрипачи,
где кровавая речка течёт
и открыт уже гамбургский счёт,
тихо красная всходит луна,
как вдова, в чёрном небе одна.
И Мария, шахтёрская дочь,
словно маленький загнанный зверь,
всё стоит и стоит у окна,
а в окне — пустота, краснота.
И надломлены руки её,
и не снять уже ими бельё.
И предчувствие скорой беды,
словно запах гниющей воды.

* * *

Мы — подвальные, мы — опальные,
кандалы наши тяжелы.
Мы — идея национальная,
мы — форпост затяжной войны.
Чёрной совести боль фантомная,
боль, что мучает по ночам,
эта домна внутри огромная —
наша ненависть к палачам.
Мы священные, мы убогие,
мы у Боженки в рукаве.
И глаза Его слишком строгие.
И следы Его — на траве.
Утром встанем, пересчитаемся,
похоронимся, поревём.
Эх, война-война — девка та ещё!
Частоколы да бурелом,
заминированы окраины,
человеческий страшный суд.
Авель помнит — повсюду Каины,
только высунешься — убьют.

* * *

Приносили его на щите,
и Мария губами к щеке
припадала, и плакала мать:
“Положите его на кровать!”

Он был хладен, безмолвен и сер,
и был день — беспросветный четверг.
Ну, а дальше — на пятницу ночь,
и Мария, шахтёрская дочь,
занавешенных мимо зеркал
проходила в траурный зал
и глядела на лоб мертвеца,
на холодные губы отца,
на его восковеющий лик,
на немой неподвижный кадык,
на пурпурный распахнутый гроб,
словно двери в кровавый окоп,
где он денно и ночью сидел,
где живой он вчера помертвел,
где последнее небо его
выедало из глаз вороньё.

* * *

Воронки, вороньё, война...
Мария — дочь степи донецкой,
несчастный ангел бытия,
лишённый ангельского детства.
О, безотцовщины клеймо!
О, сиротливое удушье!
Война, воронки, вороньё.
Смертельно раненые души.
Прощайте, храбрые сыны,
прощайте, дочери, до встречи.
И лица ваши — лик войны,
и в камне вас увековечат.
Мария, девочка моя,
коса — пшеница, руки — плети.
Воронки, вороньё, война.
А мы — войны святые дети,
а мы войны священный крест
несём и, в общем-то, не ропщем,
и в ополчение из невест
уходим через эту площадь.

* * *

Лицом сурова, черна глазами,
стоит Мария под образами,
в руке — просвира, и — голос сверху:
“Оставь печали при входе в церковь!”
Крестись истошно, молись о мёртвых,
целебен воздух церковно спёртый.
Не плачь, Мария, молись, Мария,
молитва — та же анестезия.
И голос певчий, прекрасный, звонкий,
и эти свечи, что коногонки,
и путь в тумане, в пыли забоя,
подобен смерти на поле боя,
подобен жизни в твоём Донцке.
Держись, Мария, за бортик детства,
за бортик угольного бассейна
и за винтовку, что из трофейных.
Смотри сквозь оптику в эти звёзды

с земли, изъеденной чёрной оспой,
с земли, где поле пропахло тленом,
где все вдруг стали военнопленными.
Где мать — вдовица, а дочь — сиротка,
где брат вгрызается брату в глотку.

* * *

С нами Бог, с нами солнце и с нами дождь,
зарядивший снайперскую винтовку.
Это поле — рожь, а за рощей — ложь,
а за ложью — ружья наизготовку.
Это поле — ржавчина старых битв.
Что посеет ветер степей разъятых?
Террикон лежит, словно мёртвый кит,
облака плывут, облака из ваты.
Золочёный гулкий степной закат,
уплывает солнце за край планеты.
Кто во всём случившемся виноват?
Кто спасёт распятую землю эту?

* * *

Горсть земли — трижды. Я стану грызть эту землю — эту рыжую глину, эту свинцовую гирию, эту чёрную плоскость. До самого горизонта. Я — Мария, мне двадцать два от роду, я принадлежу городу, плывущему в облаках. У меня есть винтовка — СВ Драгунова, — зоркость, немало костей под кожей. Я убью всякого, кто посмеет подойти ближе, чем эти низкорослые горы. Я — Мария, и всё, что у меня есть, — это горе. Горе!

* * *

Поле Дикое, цель опознана,
от винтовки саднит плечо.
Помолитесь, религиозные,
будет страшно и горячо.
Снайпер знает, что надо с первого,
долго целится, не спеша.
В степь Мария вращает нервами,
в них одна на двоих душа.
Точным выстрелом — пулей глупою.
Смерть Марии теперь, как мать.
Поле выставлено будет трупами,
ночью станут их собирать.
У Марии в блокноте крестики —
безымянные пацаны.
И они почти все — ровесники
развязавшей войну страны.

* * *

Имя горькое твоё — Мария,
имя твоё убийственное.
Как твоя мать, Мария,
пишет ли тебе письма?
“Как тебе там воюется,
доченька моя светлая?”

А у нас на улице
бабье нелёгкое лето.
Яблоки собрать некому
райские — падают сами.
Соль под моими веками,
видимо, что-то с глазами.
Горько на сердце бабьем,
воротись, доченька, с фронта.
Облака плывут, как кораблики,
до самого горизонта.
Пальцы мои бесколечные
крестят небо над городом.
А за кровавой речкою —
вороны, вороны...”

* * *

Господи Иисусе, как же страшно:
стало минное поле, была пашня.
Небо черно от дыма, глаза режет.
Господи, мы одержимы, мы — нежить.
Господи, я — отшельник, стрелок, пешка.
Господи, присмотри за мной, установи слезку,
приставь ангела, чтобы рука не дрогнула,
накорми манною дурочку сумасбродную,
дай хоть глоточек чистой воды из колодца.
Путь мой тернистый, путь, что не продаётся.
Лежу, а в глазах осень, коростой изъеденная.
Господи, вплети в косы мне святое неведение,
забери память, забери имя, дай новое.
Степь моя обетованная, время — средневековое,
время моё матерное, кровожадное, страшное.
Стало поле минное, а было пашенное...

* * *

Приходила зима — снежная, белая, —
и деревья стояли сказочные, звенящие.
Умидали воины — юные, смелые —
умирали стоя, умирали по-настоящему.
Эх, донецкие ветры — вольница, житница,
а теперь безлюдье — лишь псы да вороны.
И моя Мария — степей защитница,
а вокруг зима на четыре стороны.
И в блокноте крестики в столбик синие,
на погостах новых крестов тьма-тьмушая.
И моя Мария — ресницы в инее,
и тоска на сердце, тоска гнетущая.
По отцу тоска, кровью не смываема,
и слезами тоже она не смывается.
И моя Мария — доченька Николаева —
полушёпотом молится Богородице.

* * *

Не зная ни имени, ни возраста,
видит главное по нашивкам — враг.
Воин с рыжей кудрявой порослью
на суровых мужских щеках.

Руки — ломти, краяхи белого,
как поджар он и как висок,
жалко даже в такого смелого,
жалко целить в его висок.
Зубы сахарные, жемчужные,
фальши нет ни в одном из них.
Кто принудил тебя к оружию,
кто послал убивать своих?

* * *

Он стоит на коленях, крестится,
молод, весел, рыжебород.
Между нами — окно и лестница,
на окне — деревянный кот.
Чей-то кот, позабытый в спешке,
статуэтка, ненужный груз.
Кот-мурлыка ершит в усмешке
свой единственный правый ус.
Тень в углу залегла густая.
Как же зыбок январский свет...
В небе зимнем, что запятая,
чёрный ворон — в броню одет.
Воин тоже в бронежилете,
но висок так опасно наг.
Хрипло воет январский ветер,
назначая, кто друг, кто враг.

* * *

Церковь белая на пригорке,
снег похож на лебяжий пух.
Глаз Марии предельно зоркий,
музыкален девичий слух.
За спиною — полсотни жизней,
на груди — православный крест.
Снег молочный безукоризнен,
снег из рая для адских мест.
И так хочется в детство снова —
в утро первого января,
старый год обернётся новым,
свечка — каплями янтаря.
На льняную скатёрку жизни
истечёт прозорливый воск.
И на кухне, как тюль, повиснет
дым от папиных папирос...
Но откроешь глаза и в небо
бросишь взгляд — небосвод свинцов.
Что нас ждёт впереди? Победа!
И отмщенье за всех отцов.

* * *

Родить бы сына,
назвать Николашей.
Родить невинного,
кормить манной кашей.
Родить красивого,

глазами в деда.
Пусть вырастет сильным,
балованным сердцеедом.
Родить бы дочку,
тонкую, как берёзка,
беленькие носочки,
платье в полоску.
Волос тугой, русый,
не сплесть в косоньку,
плечики узкие,
пяточки абрикосовые.

* * *

Никого не родишь. Только чёрный камыш да слепая луна над рекой...
Не пройдёт человек, даже серая мышь здесь боится бежать по прямой.
Степь — лоскутный пейзаж и горячий рубеж, пограничье двух разных
миров. Я люблю этот кряж, его дикий мятеж в кружевах кучевых обла-
ков. И винтовка в руках, и “ни шагу назад”, здесь — забытая Богом зем-
ля. И бесплодны поля, где под небом лежат нерождённые сыновья.

* * *

Здравствуй, мама! В моём блокноте
не осталось живого места, на сердце пусто.
Как вы там живёте, как вы все живёте,
когда здесь в степи алой речки русло?
Разливанны воды, небеса развёрсты,
километры гиблого безвоздушья,
а луна — сухарик окопный, чёрствый,
да и тот был кем-то другим надкушен.
Я убила столько, что думать страшно,
мой последний был молодым и рыжим.
Он бы мог стать братом мне бесшабашным,
он бы мог стать другом и даже ближе.
Я убила столько, что мне приснилось,
как отец спустился с небес к ставочку
белолицым ангелом — Божья милость! —
и сказал мне: “Машенька, хватит, дочка!”
Я убила столько, ты не поверишь.
Помнишь нашу яблоньку во саду ли?
Я убила столько, что стала зверем,
на которого жалко потратить пулю.

* * *

Птицы возвращаются на восток,
вместо речки тянется кровосток,
но весна звенит, и готов росток
пробиваться к звёздам.
Как полны и влажны её уста,
а она, дурёха, спешит в места,
где боец, считающий “до двухста”,
и прогорклый воздух.
Ощущенье пьяной шальной весны.
Мы устали видеть дурные сны,
мы устали жечь во дворах костры
и бояться ночи.

Скоро-скоро речка вскипит водой,
и в неё бы утром войти нагой,
вспоминая рыжего с бородой,
но февраль обочин,
где деревья всё ещё мертвецы,
где не будут вылуплены птенцы,
где стихи читают до хрипотцы,
до истёртых связок,
где рука Марии в моей руке,
где вся жизнь, повисшая на курке,
и слеза солёная в уголке
маминоного глаза.

* * *

А с неба не снег, а серые лепестки пепла.
Мария лежит, и горы над ней огромны,
но Мария не видит горы — она ослепла,
врастая хребтом в донецкие чернозёмы.
Она захлебнулась огнём, прикрывалась дымом,
ползла, а после бежала к густой зелёнке,
держала винтовку крепко, так держат сына,
младенца, завёрнутого в пелёнки.
Ей было почти не больно, почти не страшно,
её прикрывали громкие пулемёты,
на палец левее в одном километре — башня,
а справа стоят огнедышащие расчёты.
— Ребята, прикройте, я отхожу, ребята! —
Мария кричала и падала навзничь в почву,
и кровь её растекалась, как сок граната.
Мария, моя Мария, шахтёрская дочка.

* * *

Спи, моя дорогая, спи,
девочка-одиночка.
Спит посреди степи
шахтёрская дочка.
Травы над ней шумят —
дикие, колдовские,
а в небесах кружат
чёрные часовые.
Мы стережём твой сон,
дочь Николая.
Солнце за террикон
к вечеру уплывает,
стелется сизый дым,
воды несёт речка,
страшно ходить живым
по этим святым местечкам.
Спи, моя дорогая, спи
в теле большой планеты.
Пусть твои мёртвые сны
будут о вечном лете.
Старый седой ковыль
пусть тебя колыбелит.
Кто-то зажжёт фитиль,
споёт тебе колыбельную.
Спи, моя милая, спи...

Ещё одна тёмная ночка.
Спит посреди степи
шахтёрская дочка.

* * *

На самой вершине дальнего рыжего террикона,
где колокольный звон — музыка из привычных,
они встретятся — отец и дочь, — натянута сетка для бадминтона,
а у подножия плещется море — поле пшеничное.
И у них не будет другого занятия, кроме счастья,
и только Донецк с его улицами, проспектами и мостами
навсегда останется с ними, будет их лучшей частью,
навсегда останется с нами — погостами, розами и крестами.
Это память, с которой не стоит бороться, она нетленна.
Я помню звук, с которым стреляют “Грады”, ложатся мины.
Но Донецк — это не просто город, это вселенная,
Донецк — это шахтёрские девочки и песня их лебединая.